

Кондратьев В.

Моей жене посвящаю

ПРИВЕТ С ФРОНТА

...«Теперь мы живем в лесу, а перед нами цветущий луг. Я высовываю нос из окопа и жадно вдыхаю его запахи. Даже странно, что такая красота — это поле боя, что в пятистах метрах от нас немцы. Недалеко от наших позиций я вижу большой красный цветок. Я не знаю, как он называется, но он очень красив, и мне хочется сорвать его для... Вас. Я знаю, он завянет, засохнет, пока дойдет до Москвы, а может, его выбросит из конверта военная цензура — скажет, вот сантименты, но я вес равно сорву его. Правда, это не так просто. На этот луг не то что выйти нельзя, нельзя даже высунуть голову из окопа — сразу несколько пуль впиваются в бруствер. Но это днем, а ночью можно будет сползать. Только найду я его ночью или нет, не знаю. Постараюсь...»

Сейчас я совершенно не помню внешность Юры Ведерникова, приславшего мне это письмо. Плохо представляла я его и тогда, в мае сорок третьего, когда совсем неожиданно получила от него первое послание, поразившее меня обращением на «вы» и довольно связным изложением своих мыслей.

Конечно, излечившиеся раненые писали мне с фронта, но большей частью их письма были малоинтересны дружески-шутливые, порой малограмотные и без всяких намеков на высокие чувства, так как, видно, всерьез меня не принимали — уж слишком я была еще девчонка. А тут — на «вы» с большой буквы, с неглупыми рассуждениями, между строк которых читалось что-то для меня очень приятное...

Лежал Ведерников не в нашем отделении, а в пятом, находившемся на втором этаже. Наверное, я не раз сталкивалась с ним, когда по каким-либо делам спускалась туда, ну и, конечно, видела его на наших вечерах. Возможно, это был тот мальчик с перевязанной головой, который всегда как-то задумчиво и внимательно глядел на меня?

Но в то время я не обратила на него внимания — у меня бурно проходила очередная влюбленность в одного очень тяжело раненного танкиста с обожженным, изуродованным лицом, за которым я готова была ухаживать всю жизнь.

У меня вообще все не так, как у людей! Мои подружки влюблялись в красивых легкораненых ребят, с которыми можно было и уединиться где-нибудь в коридоре, и потанцевать на очередном вечере... Я же влюблялась только в самых тяжелых безногих, безруких, черепников, с которыми не то что потанцевать, но и поговорить-то порой было трудно, настолько они были удручены своими ранениями, настолько им было не до меня...

Забегая вперед, скажу, что, когда моя очередная любовь начинала выздоравливать, подниматься с постели, когда бледность сменялась румянцем поправляющегося больного, мои чувства куда-то улетучивались, и какое-то время я ходила опустошенная, скучная, безразличная, пока не

прибывала новая партия раненых и среди них я не находила опять какого-нибудь самого покалеченного, самого тяжелого и мое сердце не наполнялось необыкновенной жалостью, которая довольно скоро перерестала во влюбленность, и опять я думала, как я ему буду нужна, как буду ухаживать за ним, и, конечно, всю жизнь...

Итак, несмотря на то, что я очень туманно помнила этого Юру Ведерникова, я, конечно, засела за ответное письмо. А как же не ответить человеку, находящемуся на фронте? Ведь мы, девчонки, нужны нашим мальчикам не только тогда, когда они лежат беспомощные на госпитальной койке, но, наверно, и тогда, когда они выздоровели и находятся на передовой. Я ответила, не скрыв то, что я его почти не помню.

«Привет с фронта! Нина, здравствуйте!

Спасибо большое за письмо. Я, конечно, понял, что Вы ответили мне просто так, чтоб не обидеть меня. Ну какая другая могла быть причина, раз Вы меня совсем не помните? Ведь так?

У меня есть фотография, но очень плохая. Не знаю, даст ли она Вам представление обо мне, но если Вы пожелаете, то могу послать. Может быть, вспомните меня тогда? Я довольно высокий, блондин, мне уже двадцать лет, был дважды ранен, и у меня две награды — «звездочка» и «За отвагу». Не вспомнили? Хотя что я? В таком большом госпитале, как наш, было столько высоких блондинов, а вокруг Вас толпилось столько ребят, что вспомнить меня среди них, разумеется, невозможно, тем более что моя внешность ничем особым не отличается. Но Вы угадали одно — я довольно долго ходил с перевязанной головой. Кроме основного ранения в руку, у меня была осколком поцарапана голова.

Сейчас у нас на фронте затишье, но что-то томит, и настроение немного тоскливое. Вы знаете, мы ведь все время бодримся и в разговорах друг с другом, и в письмах родным, но умирать все-таки очень и очень не хочется. Особенно сейчас, когда весна. Хотите — верьте, хотите — нет, но я еще ни разу не целовался с девушкой... Вы спросите, почему так получилось? Сам не знаю.

В госпитале, когда я видел Вас (это было не часто, увы), мне очень хотелось поцеловать Вам руку. Почему-то именно руку. Один раз я было совсем решился... Вы-то не помните. Вы стояли на лестничной клетке, и я что-то спросил Вас, чтоб завести разговор. Вы что-то небрежно ответили. По-моему, Вы ждали кого-то, потому что все время оглядывались. А я будто случайно дотронулся до Вашей руки и хотел было взять ее и поднести к своим губам, но... кто-то спускался по лестнице... До сих пор не могу простить себе свою робость. Сейчас бы я вспоминал об этом...»

Бог ты мой, подумала я, читая это письмо, нашел тоже удовольствие — руку целовать! Но все же я посмотрела на свою не очень-то ухоженную руку и даже поднесла ее к губам — рука пахла лекарствами! Я поморщилась. Вот и

вспоминал бы запах карболки! Глупость какая! Но после второго письма я стала задумчива.

Очередная моя любовь уже выздоравливала, начала подниматься с постели, гремя костылями, уже не прочь была заигрывать с другими сестричками, довольно плоско остря, а я смотрела и думала: господи, ну что же я в нем нашла? Парень как парень. Не очень-то интеллигентный, не очень-то умный и к тому же стал просить дополнительные порции в обед, хныча: «Ниночка, принеси добавку». А когда он вдруг попытался меня облапить, то все! Моя любовь окончательно рухнула!

Но так как я просто не могла жить без состояния возвышенной и необыкновенной влюбленности, то жизнь моя сразу потускнела, краски ее пожухли, стало скучно и неинтересно. Поэтому второе письмо Ведерникова пришлось в самую пору, и я начала фантазировать. И то, что я почти его не помнила, стало казаться мне даже забавным — я могла выдумывать его, каким хотела. И в своем ответе написала, чтоб он никаких фотографий мне не присылал, что так даже интересней, а насчет поцелуя руки сострила, что очень хорошо, что он оробел, иначе его преследовал бы все время запах карболки...

«...Да, Вы правы, фотографию лучше не присылать. Я снимался год назад, и у меня на ней очень детская физиономия. Теперь я, конечно, не такой. На фронте мужаем мы быстро.

У нас пока тихо. Конечно, постреливают наши и немецкие снайпера, два раза на дню накрывают нас фрицы минометным огнем, но у нас хорошие укрытия и потерь почти нет. Сейчас в очень голубом небе ноет «рама», или «костыль», так мы называем немецкий разведывательный самолет. Ноет, высматривает... Возможно, после него прилетят бомбардировщики, но мы не боимся, так как у нас окопы в полный профиль.

Сегодня очень жарко. Ребята сняли гимнастерки и загорают, но мне, как командиру, неудобно, и я парюсь в полной форме.

Вы спрашиваете в письме откуда я? Я жил на Урале, в Свердловске, там окончил десятилетку, оттуда и пошел в армию. Но я часто бывал в Москве, и мы с мамой за несколько дней обходили все московские театры.

Нина, я очень счастлив, что у нас наладилась переписка. Она мне очень дорога и очень нужна. Я же совершенно Вас не знал и в письмах увидел Вас немного другой, чем Вы мне казались. Гораздо сложней. Мне кажется, что у Вас в жизни было что-то... Может, такое, чего я не желал бы. Правда ли это? Или мне показалось?..»

Читая последние строчки, я даже потеряла руки от удовольствия. Мне же смертельно хотелось быть старше и чтоб у меня *что-нибудь* было... Мне даже хотелось иметь несколько морщинок у глаз, и я часто, но безуспешно выискивала их, торча у зеркала. Увы, мое лицо было как у беби — круглое, румяное, безмятежное и, боюсь, глуповатое. «Кругла, красна, как эта глупая луна...» Это про меня! Но зато в письмах я могла напустить туману, намекнуть о роковой и несчастной любви и о том, что «так мало лет, так много пережито». Причем это не было сознательной ложью. Я верила в то, что у

меня *что-то* было, должно было быть, ведь мне уже девятнадцать! Без этого выдуманного прошлого я чувствовала себя какой-то неполноценной, а с ним я казалась себе несравненно значительней. И уж конечно, перед другими мне хотелось выглядеть именно такой. И я была очень довольна, что до Ведерникова дошли мои неясные намеки. Мои письма к нему получались пока довольно суховатыми, и как я ни накручивала себя на сентиментальный лад, выжать из себя что-то нежное пока не могла. И он чувствовал это.

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Благодарю за письмо. Я его очень ждал. Я, разумеется, понимаю, что Ваши письма совсем другие, чем мои. Да иначе и быть не может. Я знал и видел Вас почти три месяца. И все эти месяцы с каждым днем я ощущал, как Вы наполняете меня все больше и больше, а Вы даже не помните моего лица. Я был очень глуп, что не решился заговорить с Вами в госпитале как следует. Но Вас всегда окружали больные, Вы острили, смеялись, Вам было хорошо и без меня. А я ревновал Вас ко всем, прекрасно понимая, что никакого права на это не имею. Во всем виновата моя проклятая робость с девушками. И это несмотря на то, что я совсем не трус. На фронте меня даже считают немного отчаянным, а с Вами... С Вами получалось, что я просто немел и не мог выдавить из себя ни одного слова. Как я теперь жалею об этом! Может, тогда наша переписка была бы несколько иной? Но ничего, я очень верю, что мы обязательно встретимся. Как только окончится война, я непременно приеду в Москву, и мы сходим в театр. Хорошо? Я часто представляю, как я держу Вас за руку и веду в партер и мы слушаем какую-нибудь оперу, хорошо бы «Евгения Онегина». Вы любите ее? Я — да. Мне очень хотелось быть похожим на Онегина, но по характеру я скорей Ленский, чем не очень доволен. Вы знаете, я пишу стихи. Очень плохие. И посылать их Вам не буду. Может быть, одно, посвященное Вам, когда-нибудь. Оно вроде получилось...»

Я испугалась. Этого еще не хватало! Пришлет какую-нибудь дребедень, и тогда — прощай наша переписка! Я ведь воспитана на символистах, и у меня, как говорил мне наш «Буслай», преподаватель литературы, — абсолютный литературный вкус. Знаю я эти вирши, которые порой пишут наши ранбольные, — кошмар, ужас! Но еще хуже, когда чужие стихи выдают за свои. Один лейтенант целый месяц читал моей подружке: «Мадам, уже падают листья...» А «мадам» на полном серьезе воображала, что эти стихи посвящены ее персоне, я была просто не в силах сказать ей правду. Нет уж, избавь меня, господи, от доморощенных стихов.

И я поспешила ответить Ведерникову, умоляя его Христом-богом не посылать мне никаких стихов, потому что я их терпеть не могу, что от них у меня голова начинает болеть, и прочую ерунду.

Теперь-то я понимаю, что была жестока и бестактна. Разве можно было писать такое человеку, находящемуся рядом со смертью? Но тогда, на третьем году войны, она настолько вошла в нашу жизнь, настолько стала обычной, настолько естественной, что мы все как-то не очень представляли трагедию наших подопечных, которые, излечившись, прощались с нами, прощались с улыбками, спокойные, даже радостные, будто уезжали не на войну, не на

смерть и ранения, а в какую-то очень интересную командировку. И письма их с фронта были всегда бодрые, безжалобные. Они старались рассказать в них что-нибудь веселое, смешное из их фронтовой жизни...

Но сколько раз в этих письмах встречалась фраза: «Идем в бой, но ты не беспокойся, все будет в порядке. Погоним фрица дальше. Скоро напишу...» Но писем больше не было и не было... И это тоже казалось чем-то естественным. Ну, поплачет девчонка, а потом начнет себя успокаивать, что, наверное, ранило тяжело его, не может пока писать или теряются письма в пути... А потом проходит месяц, другой, третий, и начинает сестренка понимать, что писем-то вообще больше не будет, но уже прошло несколько месяцев, не так уж горьки слезы, да и надежда не ушла совсем...

А тут прибывают новые раненые, которых надо на носилках тащить на пятый этаж, тут выматывающие ночные дежурства, тут кругом стоны, страдания, смерти после операций, тут постоянное ощущение голода, тут вдруг перестал писать с фронта отец или брат, и все реже и реже мысли о нем, с которым целовалась в коридоре и который писал такие хорошие письма...

Нет, я не могу упрекнуть ни себя, ни других наших девочек в каком-то особом легкомыслии или ветрености. Просто такова была жизнь, таковы были ее обстоятельства, при которых не было ничего прочного, при которых ежедневно рвались нити, связывающие людей.

И, пожалуй, было в том счастье, что сравнительно легко рубцевались раны, что сравнительно легко забывались люди, потому что с самого начала знакомства какой-нибудь сестренки Кати с лейтенантом Володей они понимали временность всего этого — через месяц-два они расстанутся. И он, уже попробовавший войну, знающий уже, что она собой представляет, не мог строить никаких планов на будущее, зная, как мало шансов на возвращение...

Да, наверное, мы тогда как-то инстинктивно не позволяли своим чувствам глубоко прорасти в душу, ощущая временность и ненадежность настоящего и тем самым избавляя себя от страданий в будущем.

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Конечно, если Вы не любите стихов, я не буду присылать их, тем более что они не могут выразить то, что я чувствую. Мои переживания и сильнее и глубже, чем мне удалось высказать в стихах. И я не обижаюсь на Вас. Будьте всегда так откровенны. Это самое лучшее. Быть может, Вам стоит написать мне и о том, что вас гнетет и мучает...»

Что же меня гнетет и мучает?! Я потеряла лоб, стараясь вспомнить, что же я накрутила ему в своем предыдущем письме. Ах да! Это были, конечно, неясные намеки о несчастной, неразделенной любви. К черту! Надо прекратить, раз Ведерников принимает все всерьез. Нехорошо!

«...возможно, я смог бы помочь Вам своим советом. Правда, у меня нет почти никакого опыта в таких делах, но я много читал, много думал, и мой ум, как всякий мужской ум, может, трезвее, чем у Вас, и я смогу что-то придумать...»

Теперь мне уже стало стыдно за свои фантазии, и я задумалась. Неужели я сама по себе не могу представлять никакого интереса? Неужели я должна обязательно чего-то придумывать и напускать туману? Что ж, я совсем

пустышка? Ведь не так же это! Я тряхнула головой, отбросив мысли о своей никчемности, и стала продолжать читать письмо.

«...Вчера был дождь. Такой хороший ливень с грозой, после которого мы наслаждались свежим и пахучим воздухом. Кстати, после него пришлось выпить положенные нам наркомовские сто граммов, которые я обычно отдавал ребятам. А тут промок и решил выпить. Интересное ощущение. Весело мне не стало, но зато Вы вспомнились как-то очень реально и было чувство, что Вы где-то совсем рядом. Но не дай бог быть Вам здесь. Девушкам на фронте тяжелее. Правда, у нас на «передке» (так мы называем передовую) девушек нет, но в штабе полка есть несколько связисток, ну и в санбате — сестрички. Когда бываю в штабе и вижу их, меня наполняет какая-то нежность к этим девочкам в военной форме. Нет, мне не нравится ни одна. Просто ко всем нежность и жалость, что им приходится быть на войне, где довольно трудно и мужчинам.

Нина! За Вами, наверное, многие ухаживают, но Вы постарайтесь пока не увлекаться никем. Подождите до той поры, когда мы встретимся. Уж если тогда я Вам не поправлюсь, тогда уж делать нечего... А сейчас мне кажется, что мои чувства обязательно должны передаться Вам. Они так сильны, что идут к Вам с моими письмами какими-то вполне реальными волнами, и вот сейчас, когда Вы читаете это письмо, эти волны витают вокруг Вас. И вот одна уже прикоснулась к Вам...»

Черт побери! Мистика какая-то!

Я закрыла глаза, и вдруг этот Ведерников представился мне совсем другим, чем до этого. Он стоял передо мной очень большой, какой-то расплывающийся, контуры его тела были неясны, словно размыты, и тянул ко мне руки, а от них, от кончиков пальцев, тянулись, переливаясь всеми цветами радуги, его «чувства». Взгляд его был направлен на меня, но глаза почему-то закрыты, и это мне показалось страшным. Я открыла веки, помотала головой, скидывая с себя это наваждение, а потом присущий мне юмор взял верх, и я рассмеялась. Но что-то дрогнуло в душе — ведь такое у меня впервые в жизни. Я побежала к девочкам справиться, не передают ли пишущие им ребята свои чувства таким вот образом. Оказалось, что никто до этого не додумался. Значит, такое только у меня. Это очень здорово!

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Сегодня такая радость — получил Ваше письмо! А главное, почувствовал, что оно немного другое, чем прежние, — теплее и сердечнее. К сожалению, в этот же день, вечером, произошло несчастье — убило моего связного Васю Колбина. Он как-то неосторожно высунулся из окопа, и снайпер попал ему прямо в лоб. Он был очень хороший парень, и мы здорово сдружились за это время...

Я Вам признаюсь — ночью, оставшись в землянке один, я плакал, как маленький.

Представляете — я, мужчина, командир взвода, и плакал!

Утром писал письмо его родным. Если б Вы знали, как это тяжело. Но что делать? Война есть война. Я не хотел Вам писать об этом, но мы же договорились писать всегда правду,

вот и написал. Даже не скрыл, что плакал. Очень трудно привыкнуть к смертям. Наверное, вообще невозможно. Но они неизбежны, пока идет война, и надо держать себя в руках...»

Я прочла и тоже пустила слезу, хотя в первый раз услышала про этого Васю Колбина. Но мне жалко стало Ведерникова. Я представила его одного в темном блиндаже, как он сидит, сторбившись, и размазывает по своему лицу непрошенные «скупые мужские» слезы. И тут только до меня дошло по-настоящему, что и его, Ведерникова, могут тоже убить, и я заревела уже как следует.

Ко мне подошел один пожилой раненый и спросил:

— Что с тобой, сестренка? Похоронку, что ли, получила?

— Нет.

— Чего же тогда плачешь?

— Связного у него убило.

— Какого связного и у кого, сестренка? — Не понял поначалу раненый, а потом добавил: — Разве обо всех нас наплачешься? Слез не хватит, милая. А ну-ка, подними голову да улыбнись. Вот так. Умница. — Он погладил меня по голове тяжелой шершавой рукой и отошел.

А я смотрела ему вслед — сутулому, опирающемуся на палку, в сером коротком не по росту халате — и утирала слезы, тронутая его вниманием.

Вообще пожилые относились к нам, девчонкам, как-то по-особенному трогательно, жалея нас, как своих дочерей, а часто и звали так — дочка, доченька...

Ранбольные... Так мы называли наших подопечных. Вначале мы звали их просто больными, как принято в больницах, но они запротестовали — мы не больные, мы раненые, мы не просто какую болезнь подхватили, а кровь на фронте пролили за Родину, совсем это другое дело. Вот и получилось такое нелепое слово — ранбольной. Но так мы называли только что прибывших, пока не знали их имен и фамилий, а потом звали их, конечно, по именам, реже по фамилиям, а еще реже по именам-отчествам, потому что большинство было наших одногодков — Вась, Петь, Андрюш, Сашек и так далее.

Итак, я утерла слезы, встряхнулась и направилась по палатам делать свои обычные дела. Теперь-то они стали обычными, а в первые дни... Бог ты мой, как все было трудно, потому что не умели мы ничего. Я уж не говорю о перевязках, об уколах, внутривенных вливаниях. Простую клизму не умели поставить. И не умели, и смущались, и смущали раненых. А нести десять тарелок супа на одном подносе! Этому тоже надо было научиться. Один раз я грохнула поднос. Супа, конечно, на кухне налили еще, а за тарелки мне пришлось платить, и ранбольные собирали мне по рублику, понимая, что моей зарплате стоимость тарелок нанесет невероятный урон. Но ревела я, когда это получилось, не из-за денег — мне было жалко супа! Да, да — супа!

Сегодня вечером предстоит какой-то концерт у нас и, разумеется, после него, как обычно, танцы. И мы все — и сестры и больные — находимся по этому поводу в приподнятом настроении, предвкушая музыку, кружение в вальсе с тем, кто нам немного нравится, или с тем, в кого мы немножко влюблены...

Сейчас трудно представить, как после двенадцатичасового дежурства (мы работали с восьми до восьми), после таскания тяжелораненых на носилках (каталок не было) на процедуры, после перевязок, после кормления, ношения уток и суден, а еще порой и мытья полов в палатах и кабинетах, — как можно после всего этого думать и мечтать о танцах. Но мы мечтали, ждали этих вечеров с трепетом, с замиранием сердца, хотя прекрасно знали, что доберемся домой только около двенадцати, опять не выспимся, опять, полусонные, побежим в семь утра к трамвайным остановкам, еле-еле пристроимся на подножку и будем висеть на своих тоненьких девичьих руках несколько остановок, пока нас не втиснут в вагон... А ведь опаздывать было нельзя! Ни на минуту!

Но все равно мы ждали этих вечеров, этих танцев, потому что другой жизни, вне госпиталя, у нас просто не было. В семь утра мы убегали уже из дому, около десяти возвращались только для того, чтобы наскоро перекусить и добрести до постели. А когда были суточные дежурства, то на отдых тоже были только сутки. Кое-как поспишь, кое-что постираешь, погладишь, сбегашь в магазин отоварить несколько талонов по карточкам, и уже близится время бежать на работу.

Да, вся жизнь проходила у нас там, в госпитальных стенах... Мы настолько привыкли к своим белым халатам и косынкам, что, снимая их, ощущали даже какое-то неудобство. Разумеется, и танцевали тоже в халатах. И наши партнеры тоже были, увы, в халатах, если они были рядовыми, и из-под этих халатов белели кальсоны с какими-то невообразимо длинными тесемками, которые всегда почему-то развязывались в самый разгар танца. Офицеры, правда, были в пижамах, тоже не отличавшихся элегантностью, как правило, стираных-перестираных, плохо отутюженных. Но все это никому не мешало наслаждаться танцами, разговорами друг с другом, обмениваться красноречивыми взглядами...

Для наших же ранбольных госпиталь был вообще почти домом. У некоторых война уже отняла настоящий дом — у прибалтийцев, у украинцев, у белорусов, и госпиталь, особенно эти вечера с танцами были для них какой-то частицей той будущей мирной жизни, которая наступит для них рано или поздно, наступит обязательно, когда они уже не в халатах и пижамах, а в нормальной штатской одежде будут танцевать с девушками на какой-то танцплощадке у себя в городе или селе.

Они и писали нам прямо на госпиталь. Писали часто и помногу, особенно те, кому некуда было писать. Благодаря этому мы все были в курсе переписок своих подруг и приход почты всегда был событием.

— Маша! Тебе опять письмо!

— Ой, девочки! А мне нет?

Сперва письма прочитывались в одиночку, а потом, особенно если в письме было что-нибудь смешное, они шли по кругу. Смех, возбужденные разговоры, обсуждения...

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

Ваше последнее письмо меня очень тронуло сочувствием к моему горю. Благодарю за него. Здесь, на передовой, так приятно знать, что где-то в Москве есть человек, с которым

можно поделиться всем, который поймет и, надеюсь, никогда не осудит. Нина, я с таким страхом посылал первое письмо. Я почти был уверен, что Вы мне не ответите. А теперь думаю — как я мог сомневаться в Вас. Вы такая хорошая. Я часто вспоминаю госпиталь. Как там было хорошо, весело. Правда, очень жаль, что мне никогда не удавалось, когда было кино, найти место около Вас. Вы всегда приходили в окружении ребят. Вы все-таки, по-моему, были немного воображалой. Очень любили показать свое остроумие и свою начитанность. Но один раз я прислушался к одному Вашему разговору с кем-то, и Вы были не правы. Вы спутали американского писателя с английским, хотя и спорили с большим апломбом. Вы, конечно, много читали, но, наверно, очень бессистемно и, схватывая все на ходу, не очень-то углублялись в суть. Но это естественно для Вашего возраста, да и для девушек вообще...»

Я фыркнула, словно кошка, которую погладили против шерсти, состроила гримасу, показала язык, потом потерла лоб рукой, что выражало у меня крайнюю степень озабоченности и недоумения, и надулась... Тоже мне, умник! Это я-то не углубляюсь в суть? Да что он понимает во мне, этот Ведерников! Всегда и все были в восторге от блеска моего ума, тем самым постоянно подтверждая мое собственное высокое мнение о нем. Ну, я ему сейчас покажу!

Я побежала в процедурку, достала лист бумаги и начала строчить ему ответ. Я вообще была скоро на ответы. Остроумные реплики вылетали у меня без всякого напряжения с моей стороны, и моего язычка побаивались не только мои подружки, но даже и старшая сестра, которая тоже в карман за словами не лезла, тем более что окончила филологический факультет и воображала из себя невесть что. Но в моей обойме всегда оказывались словечки похлестче, и выдавала я их на секунду побыстрее, чем она.

Начала я, разумеется, с иронической благодарности лейтенанту Ведерникову за то, что взялся он учить меня, убогую, уму-разуму. Правда, видимо, по причине своей необыкновенной тупости я как-то не заметила в его письмах особого блеска интеллекта и потому немного удивлена, что он взялся за такое неблагодарное дело, так как, сколько б он ни бился, вряд ли я смогу углубляться в суть, ведь женский ум короток, а волос длинен, и так далее и тому подобное...

Вылив в своем очень остроумном, на собственный взгляд, письме свое раздражение, я опять потерла свой лоб и задумалась... Через некоторое время перечитала свой шедевр и... разорвала.

Если от своей внешности я не была в восхищении, то мой ум не вызвал у меня никаких сомнений. Им я была довольна! И всякие усомнения в его значительности со стороны других приводили меня в бешенство. Но все-таки какие-то крупинки самокритики где-то находились, правда, в небольшом количестве, поэтому даже такие осторожные и застенчивые замечания Ведерникова ввергли меня если не в бездну отчаяния, то, во всяком случае, в очень неприятные размышления о своей возможной поверхностности. Я с горечью вспомнила, как в школьном драмкружке мне поручались всегда роли комические, несмотря на то, что в душе я всегда была актрисой трагической...

Неужели у меня смешная внешность? А раз так, значит, мой интеллект не нашел выражения в моей физиономии. Значит, он вещь в себе.

Пришлось опять обратиться к зеркалу, и я — уж какой миллионный раз — стала разглядывать свое лицо. Да... Даже о глазах нельзя сказать, как пишется в книгах, что «ее глаза светились умом». Нет! Ничего не светилось! А челка? Господи, совсем детская нелепая челка, закрывающая начисто мое «высокое чело». Может, именно от нее у меня такой глупый вид? Но я так к ней привыкла, что, убирая ее иногда, чувствовала себя словно раздетой.

В общем, я вышла из процедурки расстроенная и потерявшая в чем-то свою былую уверенность в неотразимости своего ума, немного обозленная на Ведерникова, и решила остаться сегодня вечером на танцы, чтоб рассеяться, проверить свои чары и обрести душевное равновесие.

«Ничего, что ты пришел усталый и виски покрыты сединой...» — пел женский голос, когда я входила в наш зал, а несколько пар уже танцевали. Я остановилась у дверей, приняла независимый вид и небрежную позу (губы сложились в еле заметную загадочную улыбку) и стала ждать приглашений... Ждала я недолго. Ко мне подошел высокий интересный эстонец, и мы пошли танцевать.

Надо сказать, что ранбольные эстонцы и вообще прибалтийцы пользовались у наших девочек большим успехом. Были они все рослые, какие-то аккуратные, всегда чисто побритые и очень, очень вежливые. Нравился нам и их акцент — совсем как иностранцы!

Танцевать я любила до умопомрачения. Танец меня так захватывал, что я находилась будто в экстазе. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но предполагаю, что не очень умное.

Эстонец танцевал хорошо и очень целомудренно, держась от меня на почтительном расстоянии. Мне это понравилось. Я терпеть не могла, когда меня зажимали. Сразу начинала брыкаться. Поэтому я согласилась и на второй танец. К концу вечера эстонец мне определенно понравился, особенно тем, что, провожая меня к выходу из госпиталя, не сделал попытки ни приобнять меня, ни поцеловать, а очень скромно, но горячо пожал мне руку и поблагодарил за доставленное удовольствие. Было в них, прибалтийцах, что-то старомодное, как мне тогда казалось. Потом-то я поняла, что это была просто настоящая воспитанность, которой, увы, не особо отличались наши русские ребята.

Письмо Ведерникову я не написала ни в тот вечер, ни в следующие дни — пусть маленько помучается. Но не было писем и от него. Прошла неделя. Когда приносили почту, я неслась сломя голову на второй этаж, где ее раздавали, но письма мне все не было и не было.

И вот, возвращаясь в свое отделение расстроенная, поникшая, — я столкнулась на лестнице с Артуром (так звали эстонца).

— Ниночка, что с вами? — спросил он.

— Нет писем, — ответила я кратко.

— О, понимаю. И давно он не пишет?

— Целую неделю.

— Ну, это, как у вас говорится, ничего, — улыбнулся он.

— Он писал почти каждый день.

— А кто он, если это не секрет, Ниночка?

— Ба, — вспомнила я. — Он ведь лежал в вашем отделении. Ведерников, Юра. Вы его знаете?

— А, Юра... Очень хорошо знаю.

— Какой он?

— Как какой? — удивился Артур. — Вы получаете от него письма и не знаете, какой он?

— Ага.

— Как же это так?

— Ну, так получилось... Мы не были знакомы, когда он лежал. А потом он написал...

— Очень странный случай, — покачал головой Артур, улыбнувшись.

— Так какой он из себя-то хоть? — опять спросила я.

— Он очень хороший, как это говорится... парень?

— Ага.

— Только он очень молодой, по-моему.

— Ему уже двадцать.

— Я думал, еще меньше... Очень жаль, Ниночка, очень...

— Что вам жаль?

— Я хотел... поухаживать за вами, но теперь... теперь не могу. Юра вам пишет, и он на фронте. Вы не беспокойтесь, Ниночка, неделя — это ничего, мало ли что? Почта задержала, или перебросили их на другой участок. Это бывает... — Артур повернулся и отошел от меня.

Меня тронуло благородство эстонца, но стало и чуточку обидно — значит, не очень-то я ему нравлюсь, раз он так легко отказался от меня. А с другой стороны, то, что Артур признал этим какое-то право Ведерникова на меня, несмотря на «очень странный случай», как-то уверило меня в том, что наши отношения с Ведерниковым серьезны, раз их признают другие.

В этот же вечер я настрочила большущее письмо. И было в нем уже искреннее беспокойство его молчанием, но было и много глупостей. Письма я писала всегда с ходу, не очень-то задумываясь. Слова вылетали из меня, как воздух из проткнутого иголкой воздушного шарика, а обыкновенные события окрашивались в разнообразные тона, смотря по настроению, — либо в юмористические, либо в трагические. Так, почему-то довольно комический случай, происшедший недавно, в письме к Ведерникову превратился в «огромную неприятность», которую мне пришлось испытать.

А случилось вот что. Однажды в ночное дежурство, чтоб разогнать сон, я вышла в наш холл и перед большим трюмо начала разучивать па какого-то бального танца. Делала я это самозабвенно, напевая мотив и воображая, что я кружусь в танце с кем-то. .. Нет, это был не Юра Ведерников, не Артур, а кто-то необыкновенный, которого я пока не знала, но который обязательно войдет в мою жизнь, и, разумеется, навсегда... Выражение моего лица в тот момент можно себе представить. И вот в самую потрясающую минуту, когда мы окончили танец и я царственно-небрежным движением протягивала ему свою руку, которую он должен был поцеловать, раздался саркастический смех...

У меня упало сердце, кровь бросилась в лицо, я обернулась, и — о господи! — напротив меня стояла наша старшая сестра и, держась за живот, хохотала. Но так как смеяться весело, добродушно она не умела, то смех ее был противный, скрипучий, а глаза злые.

— О, Нинка в своем репертуаре! Какого принца ты воображала? — спросила она, перестав смеяться, но кривясь в уничтожающей ухмылке.

В первый раз в жизни я не нашлась, что ответить этой двадцатисемилетней старой деве, которая сама уже не способна ни на какие чувства, и, выскочив из холла, понеслась по коридору, но как только я набрала хорошую спринтерскую скорость, так с ходу шмякнулась во что-то мягкое, пружинистое, которое отбросило меня назад... Я подняла глаза, и, о ужас, передо мной стоял, пошатываясь, наш главврач, в живот которого я и угодила. Я метнулась в сторону и, обойдя его справа, рванула вперед.

На другой день, конечно, весь госпиталь знал о происшествии, и, завидев меня, все встречные и поперечные давились смехом. А так как мое хорошо развитое чувство юмора не всегда распространялось на мою собственную персону и часто покидало меня в такие моменты, то я страшно переживала.

Но прошло несколько дней, и я оправилась от конфуза и уже не обращала внимания на усмешки и довольно едкие подковырки нашей старшей, тем более что мне все же удалось изловчиться и сделать блестящий, почти смертельный выпад, правда, не очень красивый, но «на войне как на войне».

Странно, вообще-то я почти всем нравлюсь. Я весела, общительна, обаятельна (чего скромничать!), но есть какая-то категория особ женского пола, которые меня органически не выносят. Наша Алка (старшая сестра) как раз к ней и относится.

Прошла еще неделя, а писем от Ведерникова все не было... Я не на шутку волновалась, а так как все мои переживания отпечатывались на моей физиономии один к одному, то мне стали выражать сочувствие и мои подружки и ранбольные.

Не один раз заходил и Артур в наше отделение, справляясь, не получила ли я письма. Я отвечала печальным голосом, что все еще нет, и в моих глазах стояла «вельтшмерц». Он покачивал, по своему обыкновению, головой и успокаивал меня всевозможными предположениями, которые могли служить причинами молчания Ведерникова.

Я не совсем так представляла себе ту большую и несчастную любовь, которая обязательно должна прийти ко мне, но несомненным было уже то, что я несчастна, так как не получаю писем от *него*.

Правда, я почему-то не думала, что с Ведерниковым что-нибудь случилось. Несмотря на то что война являлась к нам каждый день с каждой партией вновь прибывших раненых, мы все же реально, по-настоящему как-то ее не представляли, и отчасти потому, что письма ребят, уехавших после госпиталя на фронт, были всегда какие-то легкие, даже веселые. Они не писали нам *правды*.

И потому молчание Ведерникова не связывалось пока у меня с предчувствиями о его ранении или гибели, а скорей с тем, что он увлекся какой-нибудь связисткой из штаба, о которых он писал, и забыл меня. А это, право, было бы очень обидно. Впервые отнесся ко мне человек серьезно,

называл на «вы», мечтал поцеловать мне руку, и вдруг... Неужели я все еще такая девчонка, что ко мне нужно относиться только с эдакой шуточной ласковостью, как ко мне все относятся: «Ниночка, сестреночка...» — будто я совсем маленькая. Похлопают по мордашке, вот и вся ласка. Ой, как хочется мне быть немного постарше! Ну, хотя бы на два годика! А то все девятнадцать, девятнадцать, и тянется это целую вечность... И вдруг...

«Привет с фронта! Здравствуйте, Нина!

Простите, что долго не писал. Нас перебросили на другой участок. Был длительный марш, в котором было трудно выбрать время для писем. В связи с этим и от Вас я ничего не получил и получу, наверное, не скоро.

В первые дни на новом месте было много работы — копали землю. Но я думал о Вас все время.

Когда мы стояли недалеко от передовой, приезжала к нам кинопередвижка и крутила нам старый фильм — «Тайга золотая», а через несколько дней развлекли нас настоящие артисты. Ну, может, не очень настоящие, но все-таки... пропели «Катюшу», «В землянке» и какую-то

глупую песенку про поваров и уехали. Мы остались не очень довольными. Хотелось бы чего-нибудь более серьезного. Но, правда, с удовольствием посмотрели на артисток в длинных концертных платьях, хотя было это и странно.

Мне уже кажется, что Москва, госпиталь были уже очень давно, а вот Вы — будто только вчера расстался.

Как Вы живете? Ходите ли на танцы, в кино? Откровенно говоря, я очень боюсь, что Вам кто-нибудь понравится и Вы перестанете мне писать. Давайте договоримся, что, несмотря ни на что, Вы все равно будете присылать мне письма. Я так уже привык к ним, что без них мне будет очень трудно. Договорились?

Вы, конечно, читали «Гранатовый браслет» Куприна. Так вот, мне хочется в конце каждого своего письма писать то, что писал Желтков. Вы помните, что он писал? Разумеется, помните! Но мне неудобно, что я не нашел своих слов и повторяю чужие, поэтому не пишу их, но, честное слово, они выражают мои чувства к Вам...»

Конечно, я помнила эти слова! «Да святится имя Твое...» Бог ты мой, неужели я способна внушить такие чувства? Я даже немного обалдела. Я долго стояла в углу коридора, не двигаясь, сжимая письмо в руке, и от него по ней струилось вверх к моему сердцу что-то горячее, разлившееся потом по всему телу. Неужели у меня настоящая любовь? Самая-самая настоящая!

На свой пятый этаж я поднималась по лестнице не бегом, как обычно, а медленно, осторожно, словно боясь расплескать то, что находилось у меня в душе, а все встречные, удивляясь моей величавой неспешности и значительности на моем лице, разумеется, сразу догадывались о причине этого и спрашивали:

— Получила письмо, Нинок? — И, не дожидаясь моего ответа, добавляли: — Конечно, получила. По мордахе видно.

Какое несчастье! Я совершенно не могу управлять своим лицом. Я словно открытая книга! И потому у меня не может быть никаких тайн. Все наружу. И что мне делать? Мне так хочется, чтоб у меня была тайна.

Видно, не надо было рассказывать девочкам о письмах Ведерникова, но я-то рассказала как курьез: лежал парень, лежал, чуть ли не три месяца, словом не обмолвился, а потом вдруг накатал почти любовное письмо. Смешно же? Вот и разболтала ради смеха. А сейчас жалею. Сейчас захотелось, чтоб ни одна душа не знала об этих письмах. Чтоб было это только мое.. Может, написать ему свой адрес и попросить писать на квартиру? Но там мать. Начнутся расспросы. Не знаю, что делать.

Но пока-то все знали про мою переписку, и однажды подошла ко мне Клавка — вальяжная такая сестра, очень красивая, на мой взгляд, с такой умопомрачительной походкой, что ранбольные любого возраста открывали рты и, замерев, провожали ее долгими взглядами, а лица у них становились совсем идиотскими, — и спросила меня, как всегда лениво цедя слова:

— У тебя что, серьезно с этим лейтенантиком?

— Ага. Очень, — ответила я.

Клавка снисходительно усмехнулась.

— Послушай меня, девочка. Ты еще совсем цыпленок, а поэтому слушай, что я тебе скажу. Знаешь, как проверить, серьезно он к тебе относится или просто со скуки пишет?

— Не знаю. Скажи, — заинтересовалась я.

— Намекни ему в письме, что у тебя очень тяжелая жизнь в материальном отношении, а это есть самая настоящая правда.. Или ты, может, очень хорошо живешь?

— Нет, конечно.

— Ну так вот. И скажи, что некоторым девочкам их ребята высылают аттестаты. Если любят, конечно..

— Что ты, Клавка! — растерялась я.

— Ты слушай и не перебивай. Если он этот твой намек не поймет или, вернее, сделает вид, что не поймет, значит, это пустое дело, и ты плюнь. Нечего бумагу зря марать. Ну а если у парня серьезные намерения, то он твой намек поймет и вышлет аттестат. Поняла?

Я поняла! Но у меня было такое чувство, будто меня из помойного ведра окатили. Я поморщилась, но все-таки спросила Клавку:

— А тебе высылают?

— А как же! И не один...

— И ты за всех замуж обещалась выйти?

— Разумеется.

— А как же будет, если они все приедут?

— Глупенькая. Война еще ох какая долгая будет. Хорошо, если хоть один уцелеет.

Я не нашлась что сказать, а Клавка поплыла дальше, покачивая бедрами, а стоящие в коридоре на перекуре ранбольные ошалело глядели ей вслед до

тех пор, пока она не завернула в процедурку, вильнув напоследок задом так, что ребята даже охнули.

Вот она какая, эта Клавка, оказалась, думала я, ища и не находя слова, каким ее можно обозвать. И только в туалете, в который я побежала мыть руки после этого разговора, у меня вспыхнуло в голове это слово — мародерка! Да, да, мародерка!

Весь этот день я ходила какая-то хмурая, все валилось из моих рук, и я стала как-то подозрительно поглядывать на всех наших девочек: неужели среди них есть тоже такие? Да нет! У нас чудесные девчушки — милые, добрые, чистые... Но ощущение, что меня вымазали в какой-то грязи, не проходило несколько дней... «Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!»

(Это постоянное обращение — «Привет с фронта», которое первое время меня как-то раздражало (не может ничего другого придумать), — сейчас вдруг обрело для меня какое-то определенное звучание. Эти слоги — «При», «ет», «фро», «та» — показались мне какими-то отголосками артиллерийской канонады, далекими звуками передовой, которые доносятся до меня вместе с письмами Ведерникова...)

«Я, конечно, не получил от Вас еще письма, да это и понятно из-за перемены моего адреса. Но я чувствую, как оно идет где-то и приближается ко мне.

На нашем участке пока тихо. Стоят чудесные дни. Вообще летом война легче. Не мерзнешь, ходишь в сухой одежде, снабжение регулярное. Мне очень досталось весной сорок второго на Северо-Западном фронте. Тогда залило водой все окопы, и мы ходили все промокшие до нитки. А здесь пока хорошо. Оборудовали по всем правилам свои позиции и не особенно тревожимся при артобстрелах и бомбежках. Да они и не очень часты. Главное начнется, наверно, не у нас.

Нина, Вы, конечно, тоже задумывались о смысле жизни. Я начал думать об этом лет с шестнадцати и перечел уйму разных философов. Но потом этот вопрос как-то отошел от меня, и я думал — насовсем, но вот сейчас почему-то опять стал задумываться. Может, потому, что наша жизнь здесь очень однообразна и есть время для размышлений.

Я прожил двадцать лет. И, конечно, ничего не успел в жизни сделать, да и не мог — учился, мечтал об университете, читал... Но вот, чего скрывать, моя жизнь может оборваться с любую минуту, в эти самые двадцать лет... Ну, и для чего же она была, эта моя жизнь? Неужели нет смысла в моем появлении на свет, в прожитых годах и в моей смерти, если она произойдет? Не может же этого быть! Он должен быть, этот смысл! Но в чем? А если все случайно? И наша вселенная, и наша земля, и люди на ней, и я? Что тогда? Значит, все, все бессмысленно? И когда подумаешь так, то становится как-то страшно на душе и очень пусто, словно вынули из нее что-то...

Ладно, хватит об этом, а то вдруг Вам будут скучны мои рассуждения. Знаете, я перестал отдавать свои наркомовские сто граммов ребятам, а выпиваю их сам. После них как-то спадает напряжение, лучше мечтается и, что главное, ярче вспоминается Вы...

Кончаю писать, что-то зашевелились фрицы — стреляют из пулемета на левом фланге. Напишите, что Вы думаете о смысле жизни?..»

О смысле жизни? Вот вопросик! Господи, наверное, я все же дурочка, потому что, честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Все-таки мужские головы устроены, видно, по-другому... Что же касается меня, то мне просто всегда было радостно и хорошо жить, несмотря на всякие мелкие неприятности, а раз радостно — чего же задумываться о каком-то смысле?

Мы и родились, наверное, для того, чтобы радоваться жизни. Радоваться, что светит солнце, что над нами голубое небо, что кругом хорошие, добрые люди... И наконец — есть любовь! Она-то дана для радости и счастья! Не знаю, что я ему отвечу? Что-нибудь накручу. Должно же у меня хватить на это мозгов.

Еще в школе я прочла Вересаева «Живую жизнь» — это о Толстом и Достоевском. Так вот, мне всегда был чужд и далек Достоевский с его психопатами, и я люблю Наташу Ростову! А Наташа, по-моему, не очень-то задумывалась о смысле жизни, а просто жила... Наверно, так и надо. Или я не доросла еще до таких вопросов? Но ведь Ведерникову надо ответить, и что-то умное. Ладно, буду дежурить ночью, что-нибудь да соображу на досуге.

Ничего особенно умного мне придумать не удалось. Ночь выдалась беспокойная, маетная, замучили черепники. Они самые тяжелые ранбольные и требуют особого внимания. Ходила то в одну палату, то в другую. Носила утки, поила водой, давала снотворное, поправляла одеяла и так далее... Но письмо все же дописала, и в свои довольно-таки беспомощные рассуждения ввернула словечко «имманентный», чтоб сразить своей эрудицией Ведерникова наповал. Я вообще обожала иностранные слова и запоминала их с ходу и навсегда, так же как и необычные и труднопроизносимые имена-отчества и фамилии, вроде, например, Саломеи Абрацумовны...

Закончив письмо, я еще раз перечитала ведерниковское, и у меня сладко защемило в сердце, когда я дошла до последних строчек — он заканчивал свои письма теперь так: «А теперь я мысленно говорю Вам те купринские слова из «Гранатового браслета», которые не решаюсь произнести вслух...»

Господи, неужели у меня настоящая любовь?! Как хорошо!

На другой день после ночного дежурства я, как пришла, сразу же залегла спать, но через несколько часов меня разбудили — пришла зачем-то одна девочка, с которой я училась в школе. Была она худенькая, бледненькая, плохо одетая, но, когда я спросила ее, как она живет, она начала безбожно хвастать: живет прекрасно, замужем за геологом, который сейчас в экспедиции, а сама она работает в торговле и всем обеспечена. Потом она между прочим намекнула, что может достать мне суфле. Суфле и какавелла — это появилось только в войну. До нее мы и слыхом не слыхали о таких продуктах. Суфле — это какое-то сладкое молоко, вроде растаявшего мороженого, а какавелла — шелуха с бобов какао. Если ее хорошенько покипятить, то вода становится темной и пахнет настоящим какао. В общем, вкусно, ну а суфле вообще мечта!

Я, конечно, обрадовалась, выдала ей наш единственный чайник и еще банку, дала пятьдесят рублей и уже предвкушала, как вечером я буду наслаждаться этим самым суфле.

Но наслаждаться мне не пришлось ни в тот вечер, ни в последующие — девица исчезла, а я не знала, где она живет. Плакали мои полсотни (а это четвертая часть моей зарплаты!), а главное, пропал чайник и банка, про которые все время спрашивала мать, куда они задевались.

Конечно, я страшная дурочка: не поняла по ее потрепанному и голодному виду, что ни в какой торговле она, бедняжка, не работает.

Ладно — переживем и это! Только моя муттер не отвяжется и будет пилить меня насчет исчезнувшего чайника. Она страшно не любит, когда пропадают вещи.

Правда, мама стала сейчас немного другая, чем до войны. Наркомат, где она работала в библиотеке, еще не вернулся из эвакуации, и она у меня пока без работы, получает только иждивенческую карточку. Это, видно, ее очень унижает, и она потеряла свою прежнюю властность, непоколебимость суждений и не очень-то давит на меня.

Мой незаконный отчим — дядя Кока, как я его называю, — занимает большой пост и некую толику продуктов отрывает из своего пайка для нас.

Мой же родной папочка сейчас где-то на Урале, но после того, как мне стукнуло восемнадцать и ему не стало обязательным платиться алименты, он еще ни разу не поинтересовался, что со мной, жива я или нет. А могла быть и не жива. Потому что после окончания курсов медсестер рвалась на фронт и могла бы попасть в Ленинград и только случаем не попала.

В общем, обстановочка дома у меня не очень симпатичная.

Дядя Кока намного старше матери (не знаю, чего она в нем нашла). Он очень важен, полон чувства собственного достоинства, рассуждает обо всем с невероятным апломбом, но, по-моему, не прочел ни одной книжки до конца, ограничиваясь предисловием или послесловием, после чего, имея некоторое представление о содержании книги, он мог с умным видом говорить о любом авторе.

В общем, в госпитале мне лучше, чем дома. Если дядя Кока не лежал на диване, укрывшись газетой и похрапывая (господи, и это любовь!), когда я возвращалась домой, то начинал читать мне нравоучения и пытался воспитывать. А я этого терпеть не могу! Тут я готова сбежать куда угодно, хоть к чертям на кулички. И сбегала к какой-нибудь подруге, возвращаясь домой только после отправления дяди Коки к своей семье.

Вообще отношения моей матери с дядей Кокой казались мне неестественными и шокировали меня, но мать они, видимо, устраивали...

Сегодня в госпитале у нас очень грустный день — мы провожаем «стариков». Так называем мы тех ранбольных, которым больше тридцати, которые уже успели обзавестись семьями и имеют детей. Они-то и звали нас всех «доченьками».

Они не бегали в «пикировку», не заигрывали с нами, а думали всегда о чем-то своем, их лица всегда были сосредоточенны, глаза тоскливы. Они понимали больше, чем мы и наши ровесники ранбольные, и проводы их всегда были почему-то грустными...

Хоть и говорили только о хорошем, чокаясь госпитальными кружками с кваском, но витало над нами какое-то томительное ощущение настоящих проводов. «Старики» понимали ясно, что их ждет впереди, не строили никаких иллюзий насчет своего будущего, они думали о своих детях, могущих стать сиротами, и о женах, могущих стать вдовами.

Совершенно по-другому проходили проводы молодых. Ну, во-первых, те, сняв уродливые халаты и получив форму, радовались, как маленькие, что наконец-то могут показаться перед нами, девчатами, в настоящем виде, при орденах и медалях, которые перед этим они начищали часами. Даже самые робкие становились смелее. В форме они казались себе неотразимыми, и мы их, конечно, не разочаровывали, а, даже наоборот, засыпали комплиментами.

— Ванечка! Это ты или нет? Тебя и не узнать, — говорил кто-нибудь из нас.

— Прямо красавчик! — добавляла другая, а Ванечка, выпятив грудь и покрасневшись, прохаживался перед нами таким боевым петушком, расплываясь в довольной улыбке.

Да и вправду ребята, надевая форму, становились совсем другими.

Потом молодые, особенно офицеры, имеющие денежки, раздобывали где-нибудь немного выпивки, и те несколько глотков, которые доставались на брата, без привычки ударяли в голову, и настроение становилось хоть куда. И самое главное, молодые ребята не верили, не хотели верить, что их могут убить. Они уезжали на фронт без той тоски в глазах, которая маячила у «стариков». Они даже бравировали.

— До чего все-таки надоело у вас валяться, — говорил кто-нибудь, и мы делали вид, что верили этому, потому что верил в это и он сам.

— Да, ребятки, отдохнули, поправились, даже жирком залились, пора и делом заняться — наподдать фрицу. Так, что ли?

— Приедем наподдадим. Не без этого, — поддерживали остальные...

И шло веселье... Ребята верили в свое скорое возвращение, в скорую победу, и мы верили тоже, что скоро, скоро кончится война и будет уже праздник на всю жизнь.

Конечно, мы чувствовали, что ребята немного рисуются, бодрятся, что где-то на самом доньшке души таится и другое, но общая атмосфера какой-то приподнятости, праздничности захватывала всех.

И только тогда, когда кончалось застолье и мы провожали их по лестнице, когда начиналось прощание у самых дверей, спускалось на нас облачко грусти, разговоры и смех стихали, лица серьезнели...

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

Не обижайтесь, что я Вас так назвал. Мне вообще хочется наговорить Вам тысячу всяких разных и необыкновенных слов, но я вряд ли имею на это право. А потом, боюсь Вашего острого язычка, которым Вы сможете воспользоваться.

Меня можно поздравить назначили командиром роты и уже провели приказом. Теперь в моем подчинении около ста человек. Это огромная ответственность! Справлюсь ли? Смогу ли стать таким же хорошим, умелым ротным, каким был прежний? Вы, наверно, понимаете, что на фронте продвижение по службе связано чаще всего с тем, что

освобождаются должности. К счастью, нашего ротного не убило, а ранило, правда довольно тяжело. Может быть, каким-либо случаем он попадет в ваш госпиталь. Его фамилия Ермаков. Старший лейтенант. Вдруг окажется у вас! Тогда сможете расспросить его обо мне. Плохого он не скажет.

Только сейчас принесли почту, и — радость! От Вас сразу два письма! Подождите немного, я прочту и буду продолжать письмо.

Вот и прочел. Спасибо. Вы стали ко мне лучше относиться. Неужели случилось чудо и мои чувства каким-то образом передаются Вам? Вообще-то вполне возможно. Мои чувства очень сильны, а расстояние, разделяющее нас, не так велико — наверное, километров триста.

А сильны мои чувства, наверное, потому, что они впервые зажглись в моей душе. Я как-то не интересовался девчонками в школе. Я был увлечен историей. Собирал книги, торчал в библиотеках, и мне было просто не до девочек. Но могу похвастать. По-моему, в меня была влюблена одна девица. Звали ее Надей. Она писала мне записки, назначала свидания, но я почему-то не ходил. Я написал это, конечно, не для хвастовства, чем тут хвалиться, а к тому, чтобы Вы знали, что я могу, видимо, понравиться девушке.

Пока мы находились не на передовой, мне удалось сфотографироваться. Получилось ничего. Во всяком случае, на этой фотографии я не такой младенец, как на прежней. Но если Вы до сих пор хотите воображать меня по-своему, то посылать не буду, а то вдруг разочаруетесь.

Наверное, скоро мне повесят еще «звездочку». Глядишь, к концу войны, если останешься жив, дослужишься до майора. Но в армии остаться насовсем я не хочу. К истории я не охладел. Видимо, она мое призвание. Особо интересует меня эпоха Петра. А потом — революция. Это, пожалуй, самые переломные эпохи в истории России, самые значительные. И та и другая перевернули не только весь уклад жизни народа, но и его душу. Проникнуть во все это чрезвычайно интересно. Но, простите, быть может, это Вам скучно. Поэтому прекращаю. Напоследок шлю Вам те же слова, что и всегда...»

Я задумалась. Очень глубоко задумалась, как, наверное, никогда в жизни. Передо мной в письмах вставал человек. Не просто влюбленный паренек, а человек. Со своими мыслями, мечтами, со своей судьбой. И я как-то впервые задумалась о загадке личности. И вдруг поняла, что каждый человек — это особый мир. Мир очень сложный, своеобразный и, главное, неповторимый... Никогда в мире не будет такой, как я, или такого же, как Ведерников. Мы все уникальны и неповторимы. Эта в общем-то совсем не новая для человечества мысль для меня тогда стала откровением, поразила до невозможности.

И после этого откровения письма Ведерникова стали для меня не просто приятным событием, возбуждающим какие-то светлые, теплые чувства, а стали, кроме всего прочего, страшно интересны в другом, в главном, — в

постижении внутреннего мира этого человека, который постепенно раскрывался мне все больше и больше с каждым полученным письмом.

Я так и написала ему: «Вы стали интересны мне, Юра, как человек, и я с нетерпением жду ваших писем, чтоб узнать о вас еще что-то новое...» А в конце даже добавила, что, наверное, буду ждать его, ждать по-настоящему.

А жизнь в госпитале шла своим чередом... Случались события и комические, и драматические, и трагические. Трагическими были всегда смерти раненых. И хотя почти каждый день кто-то умирал, привыкнуть к этому было невозможно. Особенно когда умирали твои больные, за которыми ты ухаживала, у которых просиживала ночи, к которым привыкла... И я всегда ревела. Умирали молодые, сильные, красивые, которым жить бы и жить, и примириться с этим было нельзя.

Но наряду с этим были случаи и смешные. Самые чудеса творились с ранеными, у которых были повреждены периферические нервы. Например, ранен человек в руку, а случайно дотронешься до его пятки, и он вопит как резаный — страшная боль. Ему и самому потом смешно: как это так, ранен в одно место, а болит другое. Ну, и мы не удерживались — прыскали. И смех и грех. Или — везу я в лифте одного ранбольшого. Только я закрыла дверь, а он как закричит:

— Ниночка! Укрой меня чем-нибудь! Не могу! Страшно! — Ну, я, конечно, умирая от смеха, покрываю его лицо полрой своего халата (чем же еще?), а он весь дрожит, как осиновый лист. Так и ехали. Вышли, а он и сам засмеялся, не понимая, отчего ему вдруг стало страшно.

Некоторые высоты боялись, по лестнице ходили, прижимаясь к стенке, и не дай бог, если к перилам подвести, — тоже вопль ужаса и боль во всех местах.

А был один, который на дню несколько раз просил обливать его водой, что мы все и делали с удовольствием и смехом. Наберем в рот воды и обрызгаем его, как белье перед глаженьем.

Конечно, сейчас думаешь, ну чего же смешного в этом было? Ведь больно людям. Но тогда нам, смешливым девчонкам, достаточно палец было показать, чтоб мы начинали помирать со смеху.

Случались и драмы. Любовные, конечно. Лежал у нас один капитан. Молодой, лет двадцати пяти, красивый. И была у нас очень серьезная, тихая сестра Оля. Тоже очень хорошенькая, умненькая, из интеллигентной семьи. Она была не из тех, кто мог крутить роман с кем угодно. Очень положительная была девушка. Но она этого капитана полюбила по-настоящему. Когда он почти выздоровел, она водила его к себе домой показывать родителям, и мы все думали, что вот-вот они поженятся.

Но вот в один распрекрасный момент появляется у нас в госпитале в проходной девица в военной форме и спрашивает этого капитана. И как нарочно, оказалась тут и Оля. Ну, девушку, конечно, спрашивают, кто она? Она отвечает — жена и документ показывает.

Что тут с Олей было! Уж не знаю, произошло ли у них объяснение, но капитан через день выписался и уехал, а Оля... бедная Оля оказалась на третьем месяце...

Мы все ей, разумеется, очень сочувствовали, только вальяжная Клавка изрекла по этому поводу:

— Вы все дуры. Сколько раз я вам говорила, не верьте мужикам. Вот я им не верю ни на грош, и такого со мной никогда не случится.

И верно, Клавка-то бедрами крутила изо всех сил, но никому ничего лишнего не позволяла и не позволит — это точно!

А наша старшая на очередной пятиминутке не преминула съязвить:

— Если такое случилось с такой серьезной девушкой, как Оля, — сказала она, — то что же можно ожидать от других... — Она сделала многозначительную паузу, уставилась на меня, а потом добавила: — Я, конечно, не буду указывать пальцем...

Моя голова заработала, как бормашина, в ней что-то загудело, завертелось, и я выдала мгновенно:

— Зато, к счастью, некоторым из нас это абсолютно не грозит. Я тоже не буду указывать пальцем.

Девчата засмеялись, а я победоносно вышла, вильнув бедрами на Клавкин манер, благо они тоже у меня есть, подчеркнув тем самым отсутствие оных у нашей Алочки.

На танцы я продолжала ходить, но они что-то потеряли для меня то значение, какое было раньше. Стала как-то равнодушной к ним, а танцевала, меняя партнеров, никому не выказывая предпочтение. Несколько раз танцевала и с Артуром. Ему скоро выписываться.

— Ну как ваш роман... в письмах? — спросил он.

— Продолжается, — кивнула я. — Очень интересно.

— Юра умный, хороший парень, — подтвердил еще раз Артур.

— Вы тоже, — не удержалась я, памятуя о его благородстве.

Он прижал меня на какое-то мгновение, но сразу же отпустил.

— Я завтра, наверно, уже уезжаю. И мне некого будет вспоминать, кроме вас. Проводите меня?

— Конечно, — не задумываясь, согласилась я.

— Тогда у меня просьба.

— Какая?

— Вы... вы разрешите мне поцеловать вас на прощание?

Я немного смутилась.

— Разве у вас здесь никого нет?

— Никого.

— У вас в отделении очень милые девушки.

— Мне никто не нравился.

— Ой ли? Что-то не верится. У вас там Анечка такая хорошенькая. Я бы на вашем месте обязательно влюбилась.

— У меня есть девушка... дома... в Эстонии. Правда, я не знаю даже, жива она или нет... — сказал грустно Артур.

— Мне не жалко, конечно, — заколебалась я, — но... Ведерников и ваша девушка... Разве это не будет изменой?

— Какая измена, Ниночка. Просто товарищеский поцелуй на прощание. Ведь я скоро буду на фронте.

— Ладно, я подумаю, — решила и досказала: — Но я должна буду написать об этом Юре.

— Конечно, Ниночка, — улыбнулся Артур.

Мне, конечно, он немного нравился, этот Артур. Особенно его улыбка. Ладно, утро вечера мудренее, подумала я, до завтра еще уйма времени. Но этот вечер я протанцевала только с Артуром. Чего уж, раз человек уезжает на фронт...

На другой день Артур в отглаженной гимнастерке с ослепительно белым подворотничком зашел ко мне в отделение.

— У вас есть время меня проводить? Вы не раздумали?

— Нет, нет. Пойдемте. — И мы стали спускаться по лестнице.

— Вы надумали? — спросил он, грустно улыбаясь.

— Что?

— Уже забыли?

— Ах да. Вспомнила! Ну, хорошо, раз вы уезжаете. Была не была.

У самых дверей, когда мы миновали швейцара, Артур приобнял меня и поцеловал далеко не товарищеским и далеко не братским поцелуем. У меня захватило дух, сердце заколотилось, и я в смятении рванулась из его рук. Он не стал меня удерживать, а стоял передо мной тяжело дыша и почему-то очень побледневший.

— Спасибо, Ниночка. Я буду долго помнить это. Прощайте. — Он круто повернулся и вышел... Дверь, скрипя пружиной, медленно закрылась за ним.

Я еще долго стояла немного потрясенная и взволнованная. Целовалась я, разумеется, не в первый раз, но ничего у меня те поцелуи не вызывали. Только смех разбирал, потому что ребята целоваться не умели, только мусолили, и я всегда после этого бегала умываться. Но сейчас что-то дрогнуло во мне. Вообще-то это было ни к чему. Мало ли что он на фронт уезжает. У нас каждый день кто-нибудь да уезжает, что ж, целоваться с каждым?

Не совсем довольная собой, что разрешила Артуру себя поцеловать, и в то же время находясь под впечатлением этого поцелуя, я томно поднималась по лестнице и... разумеется, натолкнулась на Аллочку. Она приостановилась, обвела меня скептическим взглядом. Я прямо-таки физически ощущала на своих губах отпечаток Артурова поцелуя, который она непременно углядит! И углядела! Потому что развела руками, покачала головой и процедила:

— Опять в своем репертуаре. Кого изволила провожать и с кем целоваться?

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка! Нас перевели в другое место, но недалеко от прежнего. Теперь мы живем в лесу, а перед нами цветущий луг...»

Это то письмо, с которого я и начала свое повествование. В нем Ведерников писал, что пленился каким-то цветком и намеревается ночью сползать за ним, сорвать и прислать мне.

Я живо представила, как он ползет ночью по полю боя за этим цветком на виду у немцев (я знала, что они пускают все ночи ракеты), и у меня сжалось сердце из-за страха за него. Глупый мальчишка, ведь его может ранить или даже убить на этом лугу!

Но все же его намерение сорвать для меня цветок на поле боя наполнило мое сердце гордостью и показалось очень романтичным, прямо-таки рыцарским. Видно, в женщине издревле живет потребность, чтобы мужчина совершал ради нее какие-нибудь подвиги. В каменном веке это была, наверное, ляжка мамонта, в средние века победа на рыцарском турнире... Для меня пока еще никто ничего не совершал. А как это прекрасно! Весь день меня распирало чувство собственной значительности, и мне было даже как-то неудобно перед девочками. Ведь ради них никто ничего не совершал. Зато перед Клавкой я прошла так задрав нос, с таким видом превосходства, что она с удивлением посмотрела на меня и недоуменно пожала плечами. А я сказала ей, конечно, не вслух, а про себя — что стоят твои аттестаты перед тем, что я получу в следующем письме.

Весь день я проходила в каком-то сладком дурмане, а поскольку моя физиономия, как я уже говорила, не могла скрыть ничего, то все наши сестры и ранбольные глядели на меня, как на чокнутую, и покачивали головами.

Но к вечеру эта дурость с меня сошла, и я заторопилась написать письмо Ведерникову, в котором умоляла его не делать глупостей и что мне не надо никакого цветка с передовой, не надо никаких доказательств его любви, потому как я и так верю в нее.

Через несколько дней наша язва старшая назначила меня на индивидуальный пост к тяжелому послеоперационному больному. Видать, для того, чтобы я реже попадалась ей на глаза и не раздражала ее своим независимым и заносчивым видом. Не забыла она, конечно, и те пилюли, которые я ей отпустила за последнее время.

Поначалу я очень расстроилась. Сиди одна в палате с тяжелобольным, и никуда. Но вскоре, почувствовав свою нужность ему, тронутая его привязанностью ко мне, я уже не тяготилась дежурствами.

Он был ранен в голову, плохо ориентировался в обстановке, не понимал своего положения, но был добрый, застенчивый и очень стеснительный. Когда мы с девочками перестилали ему постель, он все твердил:

— Ну почему вы такие все молоденькие! Стыдно же мне. Неужели никого постарше нет.

Часто ему мерещилось, что к нему приехали его родные и привезли много продуктов, и он все уговаривал меня:

— Ниночка, ты же голодная. Почему не берешь у меня мяса? Видишь, сколько его у меня под кроватью. Бери сколько хочешь и носи домой.

Когда я заканчивала дежурство и собиралась уходить, он очень волновался.

— Как же ты пойдешь, Ниночка? Темно на улице. Ты оставайся, вон сколько коек свободных. А то, небось, страшно идти-то...

Аппетита у него, конечно, не было, и хлеб он не съедал, но прятал под подушку, чтоб не унесли няни, а вечером отдавал мне.

— Покушай, Ниночка. Не хватает, небось, хлебушка...

Да, хлебушка, разумеется, не хватало, как и многого другого. Питались мы не с больными, а отдельно, в своей, гражданской, столовой. И вырезали нам талоны из карточек за каждый обед: пять граммов жиров за суп, в

котором его и помину не было, а за второе вырезали мясо, которого тоже что-то не было заметно.

Раненые знали, как мы питаемся, и потому всегда предлагали нам то сахару, то хлеба, то супу, но я просто не могла почему-то брать у них, хотя и знала, что предлагают они от чистого сердца.

— Не надо, Василек. Сам потом доешь, — отказывалась я всегда.

— Бери, Ниночка, а то няньки заберут.

Няни и забирали потом, но я думала: и пусть, у них дети, они старенькие, им, наверное, труднее.

Больше недели я провела со своим Василевичем, а потом у него началось кровохарканье и его отправили в терапевтическую больницу.

Обливался он горючими слезами, прощаясь со мной, как ребенок, которого отрывают от матери. Всплакнула и я. Через некоторое время я узнала, что он умер...

Да, очень много смертей прошло у нас перед глазами... И только наша молодость, ее неистребимая жажда жизни и счастья помогли нам не падать духом, не потерять веры в прекрасное будущее, которое ожидает нас после победы, предвкушать вечера с танцами и... влюбляться... Да, влюбляться, несмотря ни на что!

В заботах о Василевиче время пролетело у меня очень быстро, и только когда его увезли от нас, я очнулась и забеспокоилась, что писем-то от Ведерникова не было.

И тут на меня напала хандра... Вообще, несмотря на свой веселый нрав, я могла иногда становиться невероятно мрачной и была неузнаваема. К счастью, такие периоды длились очень недолго — день, два, а то я просто не выдержала бы.

Вот и сейчас наступило такое состояние, и я не находила себе места. Томило предчувствие, что с Ведерниковым что-то случилось, и, конечно, из-за этого цветка, который растет на поле боя, и это будет ужасно — ведь я буду чувствовать себя виноватой...

И в самый разгар моего уныния, когда весь свет не мил, раскатами далекой передовой ко мне пришло:

«Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка!

Цветок я все-таки сорвал и посылаю Вам. Он вложен в отдельную бумажку, сложенную пополам. Если его не будет, значит, выкинула военная цензура, хотя я и написал на листочке просьбу его оставить».

Я приостановила чтение и достала из конверта этот сложенный листок. На нем и вправду было написано: «Дорогая военная цензура! Не выкидывай этот цветок. Я посылаю его любимой девушке».

Я развернула бумажку. Там лежал смятый, но еще не совсем засохший какой-то красный цветок. Красивого в нем ничего не было. Он был будто раздавленный, и на бумаге были красные следы от его сока, словно кровь... У меня сдавило грудь... Бывают у людей вот такие озарения, когда будущее на миг открывается им. Глядя на цветок, я совершенно ясно чувствовала, что это последнее письмо Ведерникова. До такой отчаянности ясно, что не могла уж

читать продолжение письма, так как глаза застили слезы, а к горлу подползал тяжелый холодный ком...

Я долго сидела, сжавшись в углу дивана в нашем холле, размазывая слезы, не замечая ничего вокруг, пока не услышала:

— Нинка, что с тобой?

Я подняла голову. Надо мною склонилась Аллочка. Я мгновенно собралась, изготавилась к бою, но она положила руку мне на голову и совсем другим, необычным для нее, тоном повторила:

— Что с тобой, девочка?

И я раскисла от неожиданной этой ласки, размякла сразу и прошептала:

— Его убьют, Алла...

— Не выдумывай, дурочка. Успокойся. — Она еще раз провела рукой по моей голове и отошла. Немного оправившись, я дочитала письмо...

«Ниночка, наверное, от меня долго не будет писем. Пора начать гнать фашистов дальше. Для меня — «смерть немецким оккупантам» — не лозунг, а зов сердца. И пока они на нашей земле, жить спокойно нельзя, просто стыдно. Я как-то не касался этого в своих прежних письмах, ведь они были о другом, о моих чувствах к Вам. Но сейчас, когда скоро пойдем в бой, Вы должны знать, что пойду я с радостью и с верой, что все будет хорошо. Я твердо уверен, что мы увидимся, что сходим еще в Большой театр и я буду держать Вашу руку в своей, а после спектакля Вы разрешите мне ее поцеловать. Не может же быть, чтобы этого не случилось? Правда? Итак, договорились? Вы не ждете от меня скорых писем и не будете волноваться. Но при первой же возможности — напишу.

Ваше письмо насчет смысла жизни я получил. Хотелось бы поподробней ответить на него, но нету времени. Скажу только, что в нем Вы раскрылись опять как-то по-новому для меня.

Пока до свидания. Пишите мне чаще. Может, и не сразу, но Ваши письма найдут меня и я получу их целую пачку. Живите той «живой жизнью», о которой писал Вересаев (я тоже читал эту вещь), и будьте всегда безоблачны и радостны...»

Я читала, а внутри меня какой-то голос продолжал твердить: это последнее письмо, это последнее письмо, это последнее письмо...

Дня через два моя хандра прошла. Мрачные предчувствия рассеялись. Мир опять расцвечился красками. Опять я шутила, острила, смеялась. Моя война с Аллочкой затихла, хотя пикировка и продолжалась, но была уже добродушной — мы просто упражнялись в остроумии, но старались не делать друг другу больно. Каждый день я бегала на второй этаж к приходу почты и не особенно расстраивалась, что писем пока мне не было, — Ведерников же предупредил, что возможен перерыв...

Но шли дни, недели... Прошел месяц... И где-то на самом доньшке души ледяным комочком нарастало все определенной и определенной то первое ощущение, которое охолодило меня при чтении его последнего письма, — писем больше не будет, писем больше не будет...

А госпитальная жизнь шла как обычно: прибывали новые раненые, уезжали на фронт излечившиеся, мои девочки влюблялись и разлюблялись,

крутилось в клубе кино, продолжались танцы под патефон, каждый вечер мы слышали — «Ничего, что ты пришел усталый и виски покрыты сединой...», ежедневно приходила почта, но я уже не неслась как полоумная на второй этаж — надежда тихо уходила из моего сердца, и с каждым днем все дальше и дальше, пока не ушла совсем...

До сих пор мне не хочется верить, что Ведерникова убили, что его жизнь, частица которой прошла передо мной в его письмах, оборвана войной.

Мне кажется, он жив. Занимается своей любимой историей. Может быть, иногда вспоминает свои полудетские письма в Москву госпитальной сестренке, которые начинал всегда приветом с фронта.

А я сохранила его письма, и вот это последнее лежит сейчас передо мной.
Привет из юности, Юра...